

ВАЛЕРИАН МАРКАРОВ



НЕНОШЕНОЕ ПЛАТЬЕ

РАССКАЗ

Люда сидела в чёрной косынке перед гробом мужа и неотрывно теребила в руках носовой платок, часто поднося его к лицу и протирая уголком то глаза, то подрагивающие кончики губ, которые, казалось, вот-вот коснутся выпирающего подбородка. А порой медленно покачивалась в такт негромким, певучим причитаниям:

— Ваня, милый ты мой, кровинушка! На кого ж ты меня покинул?! За что наказал? Теперь одна... Как же жить-то теперь?

И тогда солёные слёзы разъедали ей лицо, а мысли о трагической смерти мужа душили мучительно больно...

МАРКАРОВ Валериан Владимирович родился в Тбилиси в 1967 году. С отличием окончив факультет истории Тбилисского университета, впоследствии изучал бизнес и менеджмент в США и Израиле. Занимался преподавательской деятельностью, трудился в ряде международных организаций и дипломатических миссий. В настоящее время работает директором Международного образовательного центра в Тбилиси. Член Международного творческого союза современных литераторов "Парнас" (Грузия). Автор книг "Личный дневник Оливии Уилсон" (издательство АСТ) и "Всеми своё время", историко-биографических романов "Гении тоже люди... Леонардо да Винчи" и "Легенда о Пиросмани", сборника психологической прозы "Трамвай её желания" и других. Член жюри ряда литературных премий. Публикуется в России, Грузии, Армении, Германии, Италии, Финляндии, Дании, Греции, США, Канаде и других странах. Лауреат литературного журнала "Сура", Международного Славянского литературного форума "Золотой Витязь", премий имени Пушкина и Гоголя (Россия), Марка Твена (США), Генриха Бёлля, Де Ришелье, "Лучшая книга года" (Германия), победитель премии "ДИАС", обладатель "Золотого Пера Руси" в номинации "Историческое наследие", финалист премий имени Э. Хемингуэя (Канада), "На Благо Мира-2019", "Данко", "Большой Финал" и др.

Чин отпевания подошёл к концу, но хромоногий дьячок в белой обожжённой рясе не ушёл: уселся себе в дальнем углу, отложил в сторонку дымящееся кадило и тихим однообразным голосом читал Псалтырь. Дверь, как положено в таких случаях, была нараспашку, и народ всё шёл и шёл: как никак, а село у них большое. Одна толпа сменяла другую: одни шли, чтоб отдать последний поклон гробу; другие — чтобы поглазеть, как покоится в нём Иван. Крепкий мужчина, облачённый в новый тёмный пиджак, лежал, накрытый белой простыней, с ликом Спасителя на груди, безвольно зажав погребальный крест в восковых руках. Слабый мерцающий огонёк свечи бросал косые лучи на его заострившийся нос и загорелый морщинистый лоб с насуспенными бровями: он словно сердился на тех, кто уложил его в эту окроплённую святой водой холодную некрашеную домовину, сколоченную из свежеструганых сосновых досок.

Мужики поначалу копошились в сених, топали валенками, сбивая с них снег, затем украдкой заглядывали в горницу, где проходило прощание, жались по углам, больше удивлённые и испуганные, чем огорчённые. Входили бочком и, бросая несмелые взгляды на Ивана, торопливо скидывали шапки, крестились на иконы, обкладывали гроб мокрым, колючим словым лапником и, оборачиваясь, выражали сочувствие вдове. Бабы рассаживались на лавках, что стояли полукругом перед гробом, пускали слезу, а потом удручённо мотали головами в косыночках и о чём-то шептались меж собой. Кто-то из них обронил, что, мол, рановато Иван отдал Богу душу, дюжий был мужик, мог бы ещё жить да жить. Вдова не повернула головы: всё шевелила губами немые причитания да теребила платок.

Глядь, в дом вбежал полоумный Васька-заморыш, ногами к гробу засеменял и раз — что-то сунул в ноги покойному.

— Эй, Васька, ты чё учудил, дуралей? — хмуро спросил сосед, наклонившись и дохнув табачищем с лёгким перегаром, когда тот примостился рядом.

— Да Васька чё? Васька всё село обежал, нигде цветов нету. Непогодица. Все Ваську журят, а Васька Ивану шоколадку...

В какой-то момент ей показалось, что покойник тяжело вздохнул, и от неожиданности она вздрогнула всем телом, едва не лишившись чувств. Запласть родимая затыжным кашлем, закрыв рот рукавом и так давясь горлом, будто её рвало.

— Худо мне, Клава, — произнесла она, едва успокоившись.

— Дак это с непривычки, Люда, — закивала соседка, махнув рукой. — Уж на что я привычная — ведь мужа, брата и сына схоронить успела, — и то... Вот я тебе ща водицы подам, даст Бог, полегчает. Изморилась ты, два дня не пимши, не емши, кишка кишке, поди, кукиш кажет. И глаза все вконец выплакала, горемычная... Ты того, ступай, поешь малость, а мне идти надо, скотинка некормленная ждёт.

Права была Клавдия — Люда с головой ушла в своё горе. Как прознала про мужа, так ноги и подкосились, опустилась на пол и забилась, завывала, как собака. Клавка, которая прибежала на этот вой, смотрела на неё и, поди, думала, что Людка сошла с ума. Она не смыкала глаз вторые сутки кряду: пока покойник в доме, надобно держать всенощную.

Иван работал дежурным электромонтёром, спешил по вызову устранять всякие неполадки. Всё твердил, что без электрика в жизни — ни туды и ни сюды. Электрик, он ведь всё может: захочет — свет зажжёт, захочет — погасит, короткое замыкание может удлиннить, а длинное — укоротить. Выходит, без электрика миру хана придёт. А тут током его и убило, пока был на халтурке у Валентины. У той завсегда что-нибудь не так, как у людей. Живёт, говорят, одна, без детей, без мужа. Дом старый, от бабки остался. В нём то утюг заискрит, то розетка в стене задымится, то пробки к чертям вылетят, а то и проводка дотла сгорит. Вот Иван по доброте душевной и пособлял ей. А в этот раз Валькин телевизор чинить полез, безбашенный, так его на месте как шандарахнуло. Насмерть! В морге сказали, что под градусом был да лыка не вязал, и умер без мучений — моргнуть не успел.

На приличные похороны денег не хватало. Но сельчане выручили, всячески пособляли Люде устроить мужу подобающее прощание, да такое, чтоб

никто не осудил. И что б она делала без этих добрых людей? Бабы суетились на славу, прибирая в доме. Засучив рукава и попутно вытирая сопли, драили мылом полы, окна и двери, вытирали от пыли образа, завешивали сервант да зеркала. Лавочек вот натаскали — собирали с миру по нитке. Да ведь всё ж надо было сделать одним пыхом, пока в доме не было тела усопшего: все хорошо помнили, что сор при покойнике вымести — всех из дому вынести. А мужики вот с машиной помогли, доставили Ивана из больницы морга, за гробом съездили, недорого, правда, но очень добротным, священника местного пригласили. Свечи для погоста прикупили, лампадку разожгли, чтобы душа его, покинув тело, не испугалась темноты, а свет пламени её успокоил.

Стыд да срам, что родной сын приехать не смог, — дела у него да забыты. Говорит, Москва слезам не верит, тут в оба глядеть надо, иначе изнищаешь враз! Всё у него шито-крыто: с кем живёт и как, что ест и пьёт, где ляжку тянет — ничего ей толком не известно. Безалаберный, даже внука ей с Иваном не подарил. Господи! Образуешь, ты его! Вернулся бы в село. Нашёл бы себе девку здоровую, работающую. Детишек бы на свет Божий нарожали. Жили бы, как люди... Хорошо хоть депешу прислал, короткую, в три слова: “особлезную похороны оплачу”...

На освободившееся Клавкино место тихонько подседа Алевтина. Обняла, руку сжала и что-то шепнула на ухо, да только Люда не разобрала слов, сидела с каменным лицом. А та опять за своё, что-то ей там про Ивана на тихой ноте бубнит. Люда и прислушалась глухо, хоть и не повернула головы.

— Не убивайся ты так, подруга, — услышала она. — Не стоит он того! Всю жизнь гулял от тебя, блудливый... Ни одну юбку мимо не пропускал. Вот те крест святой, не вру. Чего глядишь? Да неужто не ведала? А год назад с Валькой снюхался. Вальку-то Раскладушку все знают. Охомутала она его. В тот день твой квасил у неё вовсю — дым коромыслом. Я ведь там близёхонько, по соседству. Напились до поросячьего визгу. Ванька твой орать стал на Вальку, что изменяет ему. Да оно, похоже, так и было. Валька ведь баба видная: краснощёкая, стройная, грудастая, наряжаться умеет. Вон воротилась из города — накувыргалась там, поди, с лихвой. Рыжие патлы свои распустила, напонадилась, хоть стой — хоть падай, огляделась, заметила себе мужика крепкого, работающего, раз в гости позвала — по хозяйству подсобить, другой, третий, да и увела. Да чтоб мне сквозь землю провалиться, коль наговариваю! Хоть и ведаю, что негоже поминать покойного дурным словом — душа его на том свете умается, но как по мне, коли чего не так, то и молчать не стану, правду-матку всю выложу, как на ладонке...

Люда замерла, чувствуя, как бешено застучало её сердце и кровь ударила в лицо. Руки её задрожали, тело обмякло, а всё перед глазами, как в сильный ливень, поплыло. Верно в народе говорят: жена об изменах мужа узнает в последнюю очередь. Всё внутри взбунтовалось, вскипело... Получается, все знали! Да молчали, грех Ванькин покрывали...

— Будь на твоём месте, — продолжала Алевтина, — извела бы её на корню, змею подколодную, тварь поганую, зелья бы подсыпала или порчу навела. К слову сказать, я тут вот что вчера надумала: покласть бы в Иванину домовину вещичу её какую, трусики разноцветные али лифчик — всякий раз на бельевой верёвке качаются туды-сюды, мужиков закликают. Покласть — и всего-то делов. Ахнуть не успеешь — вслед за твоим покандехаёт...

За окнами густыми хлопьями валил снег и, едва долетев до земли, начал таять, превращая её в месиво из грязи и воды. Был слышен лай собак вдалеке и скрип сверчка где-то в углу. Погребальная свеча медленно догорала, сероватый воск таял, стекая на дощатый пол, а его запах смешивался с ароматом ладана, дымок рваными волокнами нависал над собравшимися вокруг гроба усопшего.

Зловещую тишину в горнице нарушило лёгкое шуршание ткани: упало покрывало с зеркала, обнажив леденящую душу картину. Что это — явь или сон? В горнице гроб стоит, входят и толпятся мужики и бабы, несут на валенках грязный снег, хлопчут, утешают и кручинятся. Но за спиной её судачат да языки чешут, думая, что она этого не видит. Видит!

Знали все! И молчали. А теперь шастают туда-сюда, козы бодатые, лишь бы кости Ванькины перемыть, и, может статься, кое-кто в душе даже радуется беде её.

Темнота внутри зеркала кое-где рассеивалась дрожащим огоньком лампадки, пытаясь заполнить звенящую пустоту отчаянья и злости, пробиравшую Люду до самого сердца...

Ясно представила, как Валька хитростью заманила Ивана, поила его холодной брагой, стакан за стаканом, а потом растрепанная, шалая, в сползшей с плеча кофте, устроилась подле него, телка захмелевшего, стала будить-тормозить пунцовыми губками: “Да не спи ты, соколик! Полюби меня сильно...” “Он и полюбил.

Вздыхнула прерывисто да на мужа глянула — лежит, не шевелится, непутёвый. Вздрогнула, вспомнив про его частые отлучки: охоту на три дня и ночи, рыбалку, а то и халтурку на стороне, когда неделями ждала — не могла дожждаться. А возвращался домой пьяным, взгляд мутный — и не пикни, чуть что, вставал на дыбы, посылал крепко в тьмутаракань, так то и ладно, а то мог ведь и промеж глаз. Ох, и слепая ж была! Дура!

Лицо её исказила судорога, глаза закатились, а грудь порывисто заколыхалась от кашля. И сызнова отдалась во власть воспоминаний, и замелькали пред ней картины прошлого, которые она в обычной жизни старалась не ворошить.

Вот здесь ей восемнадцать годков. Хороша! Приударил за ней Иван, гармонист чубатый, первый парень на селе, девок щелчком пальца подзывал! Всё твердил: “Гуляй ты, Людка, пока молода да красива. Другие ж девки гуляют. Чего тебе-то порожнем ходить? Неужто хуже других?”. А как-то балясами заморочил, затащил на сеновал, подалее от людских глаз, где сладко пахли недавно скошенные травы. Тьма там стояла — глаз выколи, только слабо светились щели в полу да кое-где сквозь дырявую кровлю пятнышки лунного света пробивались. Не обхаживал, не задабривал, не упрашивал. Огляделся вокруг, сплюнул, взял сзади за груди. Сдавил жадно, до боли. Кинул на ворох сухой травы. Прижал собой в темноте, целовал лебединую шею, ласкал, рукой под белый сарафан забрался. Уступила она. Одна только мысль вертелась: скорей бы только всё кончилось. А он потом всю жизнь попрекал, да и унижал, что не честной за него пошла, не блюла себя, как положено, отдалась до свадьбы...

До того жадным оказался — всяку копейку считал, ничем не делился, а даст кому рубль, так потом два требует. Да и жуть какой ревниучий был! Не позволил ей работу продолжить в больничке местной, где фельдшером трудилась, даром, что ли, техникум медицинский закончила. И с любым она общий язык найти умела — с малым и старым. Многие на селе одиноки были, приходили к ней душу изливать, им легче становилось, а у неё радость на сердце! Уважали её там, другим в пример ставили, подработку частную подсовывали. А она и не отказывалась: кому укольчик поставить, кому — массажик лечебный от радикулита, а кому и давлению смерить да сбор травяной подсказать. А Иван всё допытывал: “Где была, куда пошла?” — “Куда-куда? На кудыкины горы продавать помидоры!” Раз как-то вздумала ерепениться, так лютó разгневался, и хлоп! — наотмашь по щеке! А рука тяжеленная, ладонь лопатой. Промочила горькими слезами подушку, синяки хвойными примочками залечила, да и попривыкла потихоньку: не ты одна — все так живут.

Стала по хозяйству ишачить, свету белого не видала. А хозяйство-то большое, знай, поворачивайся. Пока дела бабские сделаешь, денёк и прошёл. В огороде раком над картошкой стояла, за скотинкой ходила. А сбудешь её на базаре — радость мужу да убажнение. Тут ещё и сынок родился — дитятко малое догляда требует. Любила его, души в нём не чаяла, баловала, как могла. А он вырос — и тю-тю в город, будто там мёдом пчелиным помазано. Вот и не заметила, как сама переменялась с возрастом, на всю округу озлобилась, очерствела. Верно в народе говорят: не уйти от судьбинышки своей — отыщёт тебя повсюду и приведёт туда, куда ей надобно.

Враз спохватилась: ой, батюшки, да хватит ли всем водки на поминках? Надо предостеречь, чтоб много не наливали. По три рюмки — и будет с них.

Тут такие — им только подноси глаза заливать... И мясного не дождётся — постные дни пошли. Кутьёй обойдутся. Ишь, губу раскатали на булдыжку. А сами-то, сами чего? Её глаза, холодные и бесчувственные, стали зорко следить за руками односельчан, подчас сующими деньги в карман её шерстяной жакетки. Она уже жалела, что не поставила на табурет с погребальной свечой поднос для благотворений: на нём сразу видно, кто сколько дал. А тут — сиди себе, да и гадай, кто поскупился.

Выносили Ивана ногами вперёд, да бережно — не приведи Господь задеть о дверной косяк. Зашлёпали по рытвинам, по грязи, по неровным да скользким дорогам, мимо полинялых, давно не крашенных деревянных домов, крытых дранкой, покосившихся курятников да свинарников, заросших репейником, сквозь лай собак, ржание лошадей, кислый запах навоза, сена и талого снега. Ветер мягко в спины толкал, словно гнал — лишь ноги переставляй. Как взбирались на пригорок, откуда всё село как на ладони, так чуть не уронили Ивана: припал на колено первый несущий, но остальные сдюжили. Так и пришли на заснеженный погост, где вытянулся в одну линию ряд невысоких, поросших редкой травой холмов. За последним зловецим прямоугольником чернела у ног свежеврытая могила, чернела и терпеливо ждала, готовая поглотить новое тело. Вокруг ямы — слякоть, глина вязкая: народ копошился, спотыкаясь на мокрых комьях взрытой земли, все валенки себе извазюкал.

Добродушный дьячок кропил покойного святой водицей, отпуская ему земные грехи: “Со святыми упокой, Христе, душу раба Твоего Ивана, где нет болезни, скорбей и страданий, но жизнь бесконечная”. Сельчане держали горящие свечи и по очереди крест батюшки целовали, чтоб всё худое из них повылазило.

Бледное лицо Люды наблюдало за происходящим пустым, отрешённым взглядом. Соседушки с двух сторон шептали ей, приказывая плакать и причитать, но она оставалась глуха к их мольбам. Она полностью ушла в себя, ничего не видела и не слышала. Очнулась, когда кто-то сильно подтолкнул в спину: надо простаться с благоверным.

Подошла и... отпрянула — совсем не похож на себя Иван. Лицо спокойное, восковое. Снег на него падает и не тает. До самых костей, должно быть, заledenел. Лежит себе мирно, руки сложив. А ведь всю жизнь на ногах был, покоя не знал. Наклонилась, поцеловала венчик на лбу, не касаясь губами. Да так и осталась стоять. Выждав для приличия маленько и не увидев больше желающих проститься с умершим, два здоровенных бугая, отбросив окурки, заколотили крышку гвоздями и торопливо опустили Ивана в могилу, головой на восток, ловко выдернув из-под ящика облезлые верёвки. С каменным лицом бросила она три горсти земли на крышку гроба. Мужики стали быстро орудовать лопатами, закидывая яму землёй. В ногах крест православный поставили, восьмиконечный, украсили свежий холмик еловыми ветками да небольшим букетиком подснежников, ещё влажных, с упругими стеблями, хранящими тепло чих-то рук.

— Земля, природы мать, её же и могила: что породила, то и схоронила, — задумчиво изрёк полоумный Васька.

На поминки в столовую пришли всем селом — Ивана помянуть, самим поесть-попить да вспомнить собственных покойников. За длинным столом подавали пироги, солёную рыбу, овощи, фрукты, конфеты и печенье. В центре красовались румяные блины и кутья с изюмом да густой патокой, с них и начали трапезу, не забыв помолиться за покойного и поставить ему полную рюмочку с хлебом. Пили и ели много — да всё ложкой, курили, тяготину разводили. После трёх стопок фестивалить стали: шутки травить с прибаутками, старухи дурными голосами песнь затянули. Пили за Людку-вдову стоя, за их с Иваном сынушку, что не доехал до батьки, за жизнь, за друзей и соседей, за здоровье, потом даже за Сталина. Пить-то сильно хотелось, а без тоста не принято.

Наконец разбрелись по домам, видать, доктора тутошнего постыдились, Алексея Пальча. Когда-то они с Людой работали бок о бок: он врачом, она фельдшером. Оба были молоды, вели на дежурстве умные разговоры,

правился он ей тем, что не был похож на других парней — культурный, добрый. Душа-человек.

А потом... потом она пошла замуж за Ивана, забрюхателя, и всё рухнуло. Алексей вскорости уехал то ли в Сибирь, то ли на Дальний Восток. И вот, оказывается, вернулся лишь немногим более месяца назад. Бабы на селе чирикают, что вдовец он теперь. Завидев его на поминках, Люда удивилась до безумия. А как глянула в глаза да взгляды их встретились, он и покраснел, как юноша, да так, что лицо его белоснежное багровыми пятнами и покрылось. А она испуганно вдохнула воздух и почувствовала, как всколыхнулось в ней что-то, как ожило прежнее чувство, которое вроде бы давно умерло, но было ещё живо. И сердце гулко забилося.

Придя во хмелю в одинокий дом, Люда первым делом выгребла из кармана деньги, дважды пересчитала — не густо, не окупилась похороны, но, как говорится, и на том спасибо. Спрятала наличность в нижний ящик комода, встала, и тут взгляд её упал на зеркало. Перед ней стояла поседелая хмурая женщина с лицом, скрытым тенью вдовьего платка и по-зимнему быстро надвинувшихся сумерек. Точно старуха! Вся жизнь её серая да бестолковая перед глазами пролетела, да и потухла вмиг, словно и не было её вовсе.

Неспешно стянув с головы платок, она распустила волосы и долго их расчёсывала. Потом вдруг кинулась к широкому, окованному железными полосами сундуку со всяким тряпьем, отворила его, громко звякнув навесным замком. На глаза попались заплесневелые и поеденные молью, оставшиеся от свадьбы рубашки-длиннорукавки с вышивкой, рушники из белёного льна, отделанные красным шёлком и вышитые золотой нитью, пояса тканые, с узлами в бахrome. Обилие красного, цвета жизни и плодородия, взбудорило её, взбудоражило.

Засунув руку под свекровину пряжу, полотенчики-салфеточки, старую скатерть, расшитую гарусом, она нащупала на самом дне свёрток. В нём было платье цвета спелого персика — давненько сынок из Москвы привозил, да всё негде было носить. Обидно. Берегла его на счастливый день, да не случилось такого. Знать бы, будет ли впору или к портнихе нести придётся? Здесь же лежали аккуратно под стать платью бусы с крупными бусинами и туфли с каблучком — обзавелась ими, когда техникум закончила. Про них-то она и забыла напрочь! А нынче чудо как возрадовалась, так радуются при встрече со старыми знакомыми, с которыми с давних пор не виделись и от которых думают услышать что-то новое и путное.

Напялила платье, влезла ногами в туфли. Попробовала окинуть себя взглядом со стороны и невольно залюбовалась: до того ладная да фигуристая бабёнка. Наряд придавал её бледным чертам смелости, вдохнул в неё жизни. Распущенные волосы легкомысленно с плеч спадали, да и ноги, пусть и натруженные, с мозолями, оказались всё ещё ровнёхонькие да стройные.

— И совсем ещё не старуха! — вырвалось из груди.

А и впрямь, полтинник недавно разменяла. Всю жизнь пахала, ломала хребтину, как лошадь, так ужель себе право на счастье не заработала?

Сказала, и лёгкий испуг пробежал по её телу...

Покойный Иван слов сих не слышал, да и нарядов не видал. Он спал, крепко скрестив руки, глубоко под окоченелой землёй, в тиши и покое. А жена его, Людка, осталась наверху, в заснеженном холодном мире. Да только, поди, недолго осталось ей тепла ждать: февраль уж в дорогу собрался, и чувствовалось робкое, едва уловимое дыхание весны. Оно дурманило воздух и всё живое на земле, поднимало соки в деревьях, чьи почки сбрасывали оковы льда, и несло с собой пьянящее ожидание перемен.